

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

6. Первая книга

“В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил меня десять лет назад, было смешанное чувство России: тоска, ужас, покаяние, надежда.

То были времена, когда царская власть в последний раз достигла, чего хотела: Витте и Дурново скрутили революцию верёвкой; Столыпин крепко обмотал эту верёвку о свою нервную дворянскую руку. Столыпинская рука слаба. Когда не стало этого последнего дворянина, власть, по выражению одного весьма сановного лица, перешла к “подёнщикам”; тогда верёвка ослабла и без труда отвалилась сама.

Всё это продолжалось немного лет; но немногие годы легли на плечи, как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь”.

Так вспоминал зимой 1918 года Александр Блок о временном промежутке между первой русской революцией и мировой войной.

А тогда, в 1910-м, в той “наполненной призраками ночи”, он переживал свершившиеся в один год смерти Льва Толстого, Веры Комиссаржевской, Михаила Врубеля, духовный кризис символизма и читал всё новые и новые присылаемые письма Клюева, который опять и опять внушал ему, что “Ваше недоумение насчёт своего барства и моей простоты поверхностно, ложно”, который приводил в пример Леонида Семёнова – “иначе не обращается ко мне, как к брату”, – и вспоминал Александра Добролюбова. Упоминал при этом о книге “Стихи о Прекрасной Даме”, что Александру подарил Блок и которую Добролюбов показывал Клюеву в миг одной из, может быть, немногочисленных встреч. “Он то же самое, – писал Клюев, перефразируя евангельский стих, – он во мне и я в них – и духовно мы братья. Ваш же живущий во мне образ – не призрак, а правда моя. Я видал и бои, и пинки – их легче сносить, чем иногда слово простое, будничное – от которого иногда разреветься недолго, а такие ведь слёзы никогда не остаются неотомщёнными, хотя бы и невидимо...” И – никакого былинного стиля, чисто интеллигентский литературный слог письма, как знак именно ложности блоковского восприятия его, клюевской, “простоты”. “Мне прямо стыдно больше беспокоить Вас, но иначе пока нельзя. – Все мои петербургские друзья рассеялись или рассеяны и уж пишут мне не о стихах, а всё спрашивают и спрашивают, и я мучусь, что не могу рассказать им о Нечаянной радости – о свете, который и во тьме светит. Вас я постоянно поминаю и чувствую близким, родным и очень боюсь, как бы не солгать Вам чего бессознательно – помимо воли...” “Радуйтесь...”, “Жизнь Вам и радость” – так завершает он свои письма, иногда добавляя: “Простите меня за мои слова”, ибо знает, что значит сносить “слово простое, будничное...”

Продолжение. Начало в № 1–5 за 2009 год.

*Верить ли песням твоим —
Птицам морского рассвета, —
Будто туманом глухим
Водная зыбь не одета?*

.....
*Долго ль обветренный флаг
Будет трепаться так жалко?..
Есть у нас зимний очаг,
Матери мерная прялка.*

*В снежности синих ночей
Будем под прялки жужжанье
Слышать пролёт журавлей,
Моря глухое дыханье.*

*Радость незримо придёт
И над вечерними нами
Тонкой рукою зажжёт
Зорь незакатное пламя.*

Это — прямой отклик на блоковское “Безвременье” — на его слова об эпохе “распахнувшихся на площадь дверей, отпылавших очагов, потухших окон”. “Зимний очаг”, возле которого сладко слышать и “прялки жужжанье”, и “пролёт журавлей”, и дыханье моря — дарит радость, которую Николай желает Блоку в каждом письме, с одним из которых он отсылает и это стихотворение, словно чувствует, что его, клюевское, самостояние в этом мире устойчивее и надёжнее, чем у Блока, которого он в следующем посвящении назвал наконец собратом и одновременно усомнился в том, что образ “собрата” — “правда”, а не “призрак”.

*Она везде неуловима,
Трепещет, дышит и живёт:
В рыбацкой песне, в свитках дыма,
В жужжанье ос и блеске вод.*

*В шурианье трав её походка,
В нагорном эхо — всплески рук,
И казематная решётка —
Лишь символ смерти и разлук.*

*Её ли косы смоляные,
Как ветер смех, мгновенный взгляд..
О, кто Ты? Женщина? Россия?
В годину чёрную собрат!*

*Поведай: тайное сомненье
Какою казнью искупить,
Чтоб на единое мгновенье
Твой лик прекрасный уловить?*

Эта “Она”, органически слившаяся с образом Блока в клюевских стихах — постоянно сопровождает самого Блока, начиная со “Стихов о Прекрасной Даме” и на всём пространстве последнего по времени сочинения — статьи “О современном состоянии русского символизма”, которую читал и перечитывал Клюев на страницах недавно зародившегося “Аполлона”.

“Дерзкое и неопытное сердце шепчет: “ты свободен в волшебных мирах”; а лезвие таинственного меча уже приставлено к груди; символист уже изначала — теург, т. е. обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие; но на эту тайну, которая лишь впоследствии оказывается всемирной, он смотрит, как на свою; он видит в ней клад, над которым расцветает цветок папоротника в июльскую полночь; и хочет сорвать в голубую полночь — “голубой цветок” ...

Как бы ревнуя одинокого теурга к Заревой ясности, некто внезапно пересекает золотую нить зацветающих чувств; лезвие лучезарного мира меркнет и перестаёт чувствоваться в сердце. Миры, которые были пронизаны его золотым светом, теряют пурпурный оттенок; как сквозь прорванную плотину, врывается сине-лиловый мировой сумрак (лучшее изображение всех этих цветов — у Врубеля) при раздражающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням. Если бы я писал картину, я бы изобразил переживания этого момента так: в лиловом сумраке всеобъятного мира качается огромный белый катафалк, а на нём лежит мёртвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз...

Переживающий всё это — уже не один; он полон многих демонов (иначе называемых “двойниками”), из которых его злая творческая воля создаёт по произволу постоянно меняющиеся группы заговорщиков. В каждый момент он скрывает, при помощи таких заговоров, какую-нибудь часть души от себя самого. Благодаря этой сети обманов — тем более ловких, что, чем волшебнее окружающий лиловый сумрак, — он умеет сделать своим орудием каждого из демонов, связать контрактом каждого из двойников; все они рыщут в лиловых мирах и, покорные его воле, добывают ему лучшие драгоценности — всё, чего он ни пожелает: один принесёт тучку, другой — вздох моря, третий — аметист, четвёртый — священного скарабея, крылатый глаз. Всё это бросает господин их в горнило своего *художественного творчества* и, наконец, при помощи заклинаний, добывает искомое — себе самому на диво и на потеху; искомое — красавица кукла”.

“Искусство есть Ад”, — настаивает Блок и подчёркивает лишний раз, что “именно в чёрном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры”. В этом аду и свершается своеобразная “чёрная месса”: “...мой собственный волшебный мир стал ареной моих личных действий, моим “анатомическим театром” или балаганом, где сам я играю роль наряду с моими изумительными куклами (эссе homo!). Золотой меч погас, лиловые миры хлынули мне в сердце. Океан — моё сердце, всё в нём равно волшебю: я не различаю жизни, сна и смерти, этого мира и иных миров (мгновенье, остановись!). Иначе говоря, я уже сделал собственную жизнь искусством (тенденция, проходящая очень ярко через всё европейское *декадентство*). Жизнь стала искусством, я произвёл заклинания, и передо мною возникло, наконец, то, что я (лично) называю “Незнакомкой”: красавица-кукла, синий призрак, земное чудо”.

Так писал “по поводу доклада В. И. Иванова”, отойдя от основной темы, которой он раньше “посвящал жизнь”: безоглядность формулировок “Религиозных исканий” и народа” и “Стихии и культуры” уступила место безоглядности формулировок апологии символизма, которые звучат, как боевой клич трёхсот спартанцев перед последним боем или прощальные восклицания матросов “Варяга”: “нас немного, и мы окружены врагами; в этот час великого полудня яснее узнаём мы друг друга; мы обмениваемся взаимно пожатиями холодеющих рук и на мачте поднимаем знамя нашей родины”.

Ключев читал эти заклинания “брата духовного” трезвыми глазами человека, знающего цену смысла “поэзии религии” и “поэзии изящной безнравственности”, по слову Константина Леонтьева.

“Дорогой Александр Александрович, благодаренье Вам за Ваши слова ко мне — любезные моей душе. Статью Вашу о современном состоянии русского символизма прочёл, но по темноте своей многого не уразумел, не понял отдельных, неизвестных мне слов вроде: теурга, Бедекера, конкретизировать, теза и антитеза, Беллини и Беато, Синьорелли, но чувствую что-то роковое в ней для вообще символистов, какой-то трубный звук над полем костей. Отсюда заключаю, что в области художественного слова что-то, действительно, не ладно. Насколько я знаком с этим словом, а знаком я с ним смутно, оно, по моему, за малым исключением, выдумывается людьми, не сообразующимися со средствами своего таланта, стремящимися сказать больше своего понимания, людьми, одержимыми злой грёзой построить башню до небес. При таком положении дела, т. е. когда вместо, как предполагалось, величественного здания вырастают только бесчисленные “шаткие леса”, и происходит то, что Вы зовёте “глухой полночью искусства” — смешение языков, такое состояние, при котором внешний человек перестаёт понимать внутреннего и наоборот. Когда утрачен мысленный чертёж постройки, а упорные думы не хотят вспомнить его. Страшный, зловещий час... Безмолвие, холод и дым. И над бездной

жалкие строители. Если действительно это так, то строителям ничего не остаётся делать, как “спасаться” – побросать циркули и молотки, все предумышленные вычисления и схемы, спуститься в зелёный дол и, не оглядываясь, рассеяться каждому в свою отчизну. Отчизна простит им прошлое, а о будущем пусть сердце не плачет...

Творчество художников-декадентов, без сомнения, принесло миру более вреда, чем пользы. Самая дурная сторона их – это совершенная разрозненность с действительной жизнью, искажение правды жизни по произволу, только для проведения не понятых даже самими авторами, ложных в действительности мыслей (напр<имер>, о Боге, о любви, о Мировой душе). Если такие мысли и действовали на людей, то всегда губительно, возбуждая в них чудовищные, неисполнимые устремления, разжигая, например, и без того похотливую интеллигентскую молодёжь причудливыми и соблазнительными формами страсти, выкроенной авторами из собственных блудливых подштанников (подобные неисполнимости могут быть причиной самоубийства). Бог же и Мировая душа не могут быть предметом каких бы то ни было художественных описаний, которые только запутывают, затемняют и порождают ложные мысли о величайшей тайне в Мире. Тайну эту нельзя выразить ни аллегорией, ни так называемыми новыми словами, ни тонкостью образов, ничем, по единственной причине её нескazanности...

Современные словесники-символисты, пройдя все стадии, все фазы слова, дошли до рубежа, за которым царство молчания – “пустая, далёкая равнина, а над нею последнее предостережение – хвостатая звезда”, поэтому они неизбежно должны замолчать, что случалось и раньше со многими из них, ужаснувшись тщете своих художнических исканий... Но перейти за черту человеческой речи – подвиг великий, для этого нужно иметь великую душу, а главное – веру в жизнь и благодаренье за чудо бытия – за милые лица, за высокие звёзды, за разум, за любовь... Познание же “Вечной красоты” возможно только при освобождении себя от желаний Мира и той наружности, ложной красоты, которая людьми, не понимающими жизни, выдаётся за творчество, за искусство...

По сути, Клюев пишет о гордыне, которой охвачены и “старшие” символисты, и их “младшие” “товарищи по оружию”. Едва ли он в самом деле не понимал слов “теза” и “антитеза” и не знал, кто такие Беллини и Фра Беато. Также, прося у Блока прислать книги Брюсова, Бальмонта, Надсона, Андрея Белого, Сологуба – и Тютчева впридачу, с целью “услышать, как пишут эти поэты”, он уже их “слышал”, а точнее, внимательно и пристально читал. Пристальное чтение статьи “О современном состоянии русского символизма” заронило в нём тяжёлое сомнение – не прошла ли даром для Блока вся их переписка? Самоумаление, осязаемое в строках его письма, лишь подчёркивает дистанцию, на которую он отходит от “в минуту чёрную собрата”, проецирующего смутные вихри в своей душе и душах родственных ему художников на внешнюю жизнь: “...В противовес суждению вульгарной критики о том, будто “нас захватила революция”, мы противопоставляем обратное суждение: революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах; она и была одним из проявлений помрачения золота и торжества лилового сумрака, т. е. тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами...” Сознание, обуюнное гордыней, нуждается в отрезвлении. И Клюев “отрезвляет”, походя отмечая своё “нижнее” положение – положение человека жизни, а не “лиловых миров”:

“Станным, конечно, покажется, что я, тёмный и нищий, кого любой символист посторонился бы на улице, рассуждаю про такой важный предмет, как искусство. (Так и слышится протопоп Аввакум: “Аз есмь ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства не искусен, простец человек и зело исполнен неведения”. – С. К.) Но я слушаюсь жизни, того, что не истребимо никакой революцией, что не подчинено никакой власти и силе, кроме власти жизни. И я знаю и верую, что близок час падения Вавилона – искусства пёстрой татуировки, которой через мучительство и насилие размалевали так называемые художники – Мир. Явить себя миру можно только двумя путями: музыкой слова и подвигом последования Христу, как единственному, воплотившему в себе совершенную Красоту и Истину, чтоб через Него проявить

своё всеединство, свою сущность, стать подобным Отцу, как говорит Евангелие. Я сказал: “Музыкой слова”. О, если б только музыкой! Не всё ложь, что скажется, ибо язык человека – грубый и несовершенный инструмент, – пустая бочка с натянутой вместо днища свиной кожей, в которую бьют дикари, как в барабан, при своих плясках вокруг костра. Остаётся одно: вздыхание неизреченное... молитва всемирная... сожаленье бесконечное... Но такое душевное состояние, Христово настроение несовместимо с каким-либо художественным творчеством в здешнем мире, недаром Христос – величайший Художник, чудо тогдашнего искусства, Иерусалимский храм не пожалел обречь на разрушение, чтоб воздвигнуть его в Вечной Красоте в душах людей... Художники не познают Вечной красоты до тех пор, пока не плюнут и не дунут на Сатану, не отрекутся мира и того ложного искусства, которым они тешат себя и князя воздушного. Но так как они собственной кровью расписались в верности Зверю, то не могут верить в неизреченное, не могут быть творцами невидимого и должны устыдиться своей дурацкой болтовни о таких вещах, как Бог, Мировая душа, Красота и Любовь. Храм невидимый не для самопоклонников, каковыми вообще являются художники, они же должны удовольствоваться только наружной жизнью – “фатерой” с пыльным, загрязнённым окном-мыслью, за которым чуть сквозит таинственный, прекрасный мир, где место не земному слову, ни даже музыке линий, а только одному “Есмь”.

Эта фундаментальная, сущностная критика основных констант символистского миропонимания и творческого метода основана именно на знании и символистской поэзии, в том числе и творчества поэтов, книги которых Клюев просит прислать Блока, чтобы “услышать, как пишут эти поэты”. И пишет Клюев “из глубины” сердечного понимания слова, в разочаровании “тонкими, сладкими... медленно действующими ядами”, которых боялся сам Блок и о которых он писал в будущем письме к одному из своих корреспондентов.

Читая того же Сологуба (“Когда я в бурном море плывал и мой корабль пошёл ко дну, я так воззвал: “отец мой, дьявол, спаси, помилуй – я тону. Не дай погибнуть раньше срока душе озлобленной моей. Я власти тёмного порока отдам остаток чёрных дней... И верен я, отец мой дьявол, обету, данному в злой час, когда я в бурном море плывал, и ты меня из бездны спас. Тебя, отец мой, я прослаблю, в укор неправедному дню, хулу над миром я восставлю и, соблазняя, соблазну...”), Клюев не мог не поразиться подобному поистине дьявольскому легкомыслию этой игры с “лиловыми мирами”, чреватой страшными последствиями... Он, помимо всего прочего, знал – чего стоит познание потусторонней силы, тяготящейся с Божественной волей. Позже, в “Гагарей судьбине” он расскажет старую космогоническую легенду, имевшую хождение на Русском Севере: “Синяя гагара – водяных птиц царица. Перо у сивой гагары зачатое: зубчик в зубчик, а в самом черенке-коленце бывает и пищик... Живой гагара не даётся, только знающий, как воды в земляной квашне бродят и что за дрожжи в эту квашню положены, находит гагару под омежным корнем, где она смерть свою встречает. В час смертный отдаёт водяница таланному человеку заклятый пищик – певучее сивое перо...” Смысл рассказанной Клюевым легенды становится понятен, если знать, что дрожжи в земляной квашне – первобытные воды с неразделённостью стихий в них, воды, из которых достаёт землю – основу жизни – гагара, нарекающая себя при появлении Бога – Сатанаилом и творящая землю по Божьему повелению... Лишь знающий мир от его основания получает “певучее сивое перо” – но перо это – дар Сатанаила... Не ведают и не знают о том художники, “тешащие себя и князя воздушного...”

...Жёсткая отповедь Клюева не даёт покоя ему самому. В следующем письме, написанном через несколько месяцев, он единственный раз за всё время переписки с Блоком обращается к нему на “ты” и открыто называет его “братом”: “Брат Александр, жизнь тебе и радость. Не знаю почему, за последнее время часто вижу тебя: или ты мучишься много, или наоборот – перестал стремиться к Высшему. Прошу тебя – сообщить мне на моё письмо, которое вызвано твоей статьёй о символизме. Много ли, по-твоему, в нём правды или полное невежество и тьма? Я же остаюсь неизменным к тому малому прекрасному, которое получил от общения с тобой, и вижу в этом не свою волю...” И себя и Блока в их эпистолярном диалоге он воспринимает, как содуховодителей – как он духоводитель для Блока, так и Блок – для него. У каждого свой путь, но каждый на своём пути обретает новое познание –

и Клюев делится своим познанием и стремится воспринять познание и переживание блоковское... Не случайны и разнородные лексические пласты в его письмах – в диапазоне от фольклорного слоя, от слога народной былины и песни до чисто символистской терминологии и органического вплетения блоковских строк в утончённую речь начитанного и образованного корреспондента. Каждый подобный перебив напрямую зависит от настроения, с которым он обращается в своему “собрату”. И стихи, присылаемые в письмах, также чрезвычайно разнородны.

*О, кто ты, родина? Старуха?
Иль властноокая жена?
Для песнотворческого духа
Ты полнозвучна и ясна.*

Очевидная отсылка к циклу “На поле Куликовом” таит в себе и возражение блоковскому “Я не первый воин, не последний. Долго будет родина больна...” И Клюев слышит, – “схимник-бор читает Требник как над умершею тобой...” Но нет для родины ни болезни, ни летального исхода. Есть сон или то, что кажется сном – вечная жизнь в спокойном дыхании.

*Но ты вовек неуязвима
Для смерти яростных зубов,
Как мать, как женщина, любима
Семьёй отверженных сынов.*

*На их любовь в плену угрюмом,
На воли пламенный недуг
Ты отвечаешь бора шумом,
Мерцаньем звёзд да свистом вьюг.*

*О, изреки: какие боли,
Ярмо какое изнести,
Чтоб в тайники твоих раздолий
Открылись торные пути?*

“Торные пути” открываются не в рай блоковских “заморских песен” – в “тайники раздолий” любимой матери-отчизны, когда “воли пламенный недуг” отверженных поглощается вечной русской природой, порывом северной вьюги, то налетающей и закруживающей, а то враз утихающей... Образ воина – “не первого и не последнего” – возникнет и ещё раньше, воина, сходящего в “бурьяны, даль и нивы” любимой России: “На мне бойца кольчуга, и, подвигом горя, в туман ночного луга несущего светильник я...” Образ “витязя долгожданного”, что “стародавних полон сил”, “королевича-Еруслана”, стародавнего богатыря, несущего светильник духовной брани, переходит у Клюева из стихотворения в стихотворение, “чтобы сказку ветровую наяву осуществить”, но на былинный “вещий крик” героя Россия отвечает молчанием. И лишь тогда “легкозвоннее метели слетает песня с языка” – в такт этой метели и шума “сыр-дремучего бора”, “витязя-схимница”, перед “лесной древней силищей” которого склоняется пришедший.

“Красота леса бесконечно разнообразна в своём кажущемся однообразии, – писал Аполлон Коринфский. – Она веет могучим дыханием жизни; она дышит ароматом девственной свежести. Она зовёт за собою под таинственные своды тенистых деревьев... Северный дремучий лес говорит даже своим безмолвием, своей неизреченною тишиною, своими тихими шумами. Он словно воскрешает в русской душе мирозерцание забытых дедов-прадедов, словно подаёт ей весть о том, что следят за каждым её вздохом из мрака бесконечности эти переселившиеся в область неведомого пращурь. Под сенью леса как будто пробуждается в этой душе вся былая-отжилая жизнь дышавших одним дыханием с матерью-природою предков – простых сердцем людей неустанного потового-страдного труда и непоколебимо-могучей силы воли. Лесное молчание исполнено шорохов безвестных. Оно помогает хоть одним глазом заглянуть в великую книгу природы, наглухо закрытую для всех,

не пытающихся припадать на грудь родной матери-земли. И вековечная печаль, и тихий свет радостей, и грозные вспышки стародавних обид, и тайны — несказанные тайны — всё это слышится, внемлется сердцу в молчании родных лесов. Пробегают ветер по вершинам старых богатырей-сосен — скрипят-качаются могучие деревья, готовые померяться с грозой-непогодой. Ратует с бурей дремучая лесная крепь, шумит многошумная, обступает захожего человека, переключается с ним, перебегает ему дорогу, манит вещими голосами под свою широковетвистую сень, навевает на душу светлые думы о том, что он — этот человек — сын той же матери-природы, взрастившей на своей груди лес, зовущийся таинственным садом Божиим...” Клюев ощущал северную лесную глушь ещё глубже и красочнее, как средоточие живых энергий, невидимых человеческим глазом, как вечное пристанище чудо-богатырей, что сродни Христовым апостолам — незримых братьев в духе.

*Ты прости, отец, сына нищего,
Песню-золото расточившего,
Не кудрявичем под гуслирный звон
В зелен терем твой постучался он.*

*Богатырь душой, певник розмыслом,
Подружился я с древним обликом,
Променял парчу на сермяжину,
Кудри-вихори на плешь-лысину.*

*Поклонюсь тебе, государь, душой —
Укажи тропу в зелен терем свой!
Там, двенадцать в ряд, братьевья сидят —
Самоцветней зорь боевой наряд...*

*Расскажу я им, баснослов-баян,
Что в родных степях поредел туман,
Что сокрылися гады, филины,
Супротивники пересилены.
Что крещённый люд на завалинах,
Словно вешний цвет на прогалинах...*

Но и теперь “седовласый бор чуда-терема сторожит затвор”... Тайна сия велика есть, и не разгадать её даже “в настоящем разуверьясь” и облачась в “шапку-соболь” да “пояс шелковый”... Тут и встанешь перед неумолимым вопросом:

*О мать-отчизна, какими тропами
Бездольному сыну укажешь пойти:
Разбойную ль удаль померять с врагами,
Иль робкой былинкой кивать при пути?*

*Былинка поблекнет, и удаль обманет,
Умчится, как буря, надежды губя, —
Пусть ветром нагорным душа моя станет
Пророческой сказкой баякать тебя.*

Нагорная проповедь слышится в дуновении русского ветра, качающего “робкую былинку”, — и поэт отвечает “пророческой сказкой”, на которую “рассудок молчит” и которая доходит лишь до сердца, чей зов тянет “к загадке, к свирельной мечте”, к “простору лугов из-под мертвенного свода”... Так памятные ему бегуны шли далеко на Восток, повторяя про себя: “...Там Отоньское государство; живут в губе океана-морья: место, называемое Беловодие и озером Ловом, а на нём сто островов, а на них горы, на горах живут о Христе подражатели Христовой церкви, православные христиане. А там не может быть антихрист и не будет. И в оном месте леса тёмные, горы высокие, расседины каменные, а там народ именно, варварств никаких нет и не будет, а ежели б все китайцы были христиане, то б и не единая душа не погиб-

ла”, — и пели потаённый стих: “Паспорт у нас града вышняго Ерусалима, убежали мы на волю от худого господина, отпустил нас другой господин — Бог вышний един! Где бы нам ни жить, только бы Господу служить!.. Мы же ни града, ни села не знаем, но к нерукотворному граду путешествовать желаем...”

*Испуская смрад и дым,
Всадник-Смерть гнался за мною,
Вдруг провеяло над ним
Вихрем с серой проливною.*

*С высоты дохнул огонь,
Меч, исторгнутый из ножен, —
И отпрянул Смерти конь,
Перед Господом ничтожен.*

*Как росу с попутных трав,
Плоть томленья отряхнула,
И душа, возликовав,
В бесконечность заглянула.*

*С той поры не наугад
Я иду путём спасенья,
И вослед мне: “Свят, свят, свят”, —
Шепчут камни и растенья.*

... Былинный стих сменяется классическим ямбом или хореем — и тут же вступает в свои права народная песня, сочинённая им же, Клюевым, как вариация на фольклорные мотивы... Северная суровая в своей неброской красоте природа господствует в его стихах, и холодный ветер всё время остужает жар человеческой эмоции или страстного приступа, а стихнет порыв — и раздастся звонкий голос девицы-красавицы в предсвадебной заповеке: “Вы, белила-румяна мои, дорогие, новокупленные, на меду-вине развоженные, на бело лицо положенные, разгоритесь зарецветом на щеках, алым маком на девических устах...” И вступит в свои права “Слободская”, где статный детина “дозволенья ожениться у родителей просил...” Да не услышал согласия — и поменял судьбу:

*У студёного поморья,
На пустынном берегу,
Сын под елью в тёмной келье
Поселился навсегда.*

*Иногда из кельи строгой
На уклон выходит он
Поглядеть, как стелет море
По набережью туман...*

Как знать, не вспомнил ли здесь Николай своё соловецкое сидение?

...Он писал в том же письме Блоку, где разбирает “современное состояние русского символизма”: “Вглядывались ли Вы когда-нибудь в простонародную резьбу, например, на ковшах, дугах, шеломках, на дорожных батожах, в шитье на утиральниках, ширинках, — везде какая-то зубчатость, чаще круг-диск и от него линии, какая-то лучистость, “карта звёздного неба”, “знаки Зодиака”. Народ почти не рисует, только проводит линии, ибо музыка линий не ложка, краски же всегда лгут. Душу народного искусства, сознательно или бессознательно, силится проявить в своих стихах Сергей Городецкий, но слово не резец, и оно вовсе в этой области не приложимо, и если бы Городецкий вырезывал дуги и ложки, то был бы прекрасным, ибо его душа живёт в линии и народное искусство безглагольно. Вы скажете: а песня? На это я отвечаю так: народная песня, наружно всегда однообразная, действует не физиономией, не словосочетаниями, а какой-то внутренней музыкой, опять-таки

линией, и кому понятен язык линий, тому понятна во всей полноте народная песня...”

Через несколько лет он о том же будет говорить с Есениным, и многие из клюевских мыслей найдут воплощение в есенинских “Ключах Марии”. Книги Городецкого, “Ярь” и “Перун”, он уже читал, и, судя по словам Николая, его оценка весьма далека от восторгов Блока, который восхищался “Ярью”. Неудачную эксплуатацию самим Блоком песенных народных мотивов Клюев ещё раньше оценил жёстко и иронично: “Стихотворения “Песельник”, “Пляска” — балаганные прищёлкивания про Таньку и Ваньку. Я читал их на беседе (посиделке), девки долго смеялись над словом “лови лесной туман косой”, а в “Пляске” слово “лютики” будто с того света свалилось, незнакомое, уродливое, смешное, как барыня в буклях, с лорнетом и в плиссе, попавшая в развесёлый девичий хоровод, где добры молодцы — белы кречеты, красны девушки — што малинушка. Я не упоминаю про внешние стихов, потому что не придаю ей, кроме музыкального, никакого значения...” Пройдёт три года, и он — уже в совершенно ином душевном состоянии, с явным желанием “сделать приятное Блоку” — напишет диаметрально противоположное о том же “Песельнике”, как о предтече его, клюевских, “песен из Заонежья”: “Александр Александрович, вспомните: “Загляжусь ли я в ночь на метелицу”, “Ой, синь туман ты мой”, “Ой, косынку развей” — ну разве после таких былин можно не запеть “Плясею” или “Бабью песню” с “Сизым голубем”?” Но очевидно, что “внутренняя музыка” клюевских песен не имеет ничего общего с блоковскими или городецкими опытами в этой области. Клюев варьирует по своему мотивы заонежского фольклора, знакомого ему с младых ногтей, — и его песни органически входят в фольклорный безымянный пласт песенной культуры его северной земли.

“Песни из Заонежья”, которые Николай будет писать вплоть до начала Первой мировой войны, войдут отдельным разделом в 1-й том двухтомного собрания под названием “Песнослов”. А запели клюевские стихи куда раньше.

* * *

В 1944 году в очередной тетради своего огромного дневника Михаил Пришвин записывал свои воспоминания о 1909 году.

“В 1909 г. высший слой литературы в Петербурге был насыщен бродячими мыслями, ищущими своей материализации. Чего только ни высказывалось на религиозно-философских собраниях, о чём только ни мечтали люди, одержимые бродячими по свету мыслями. Создавалось в этом хаосе полупризрачное существование, похожее на сказочные души в непоказный час рождения людей: присыпушей, удавушей, заливушей.

Среди них были и замечательные поэты, как Александр Блок, но даже и такие почти гениальные люди держались неукреплённо, как держится прямым синим столбом в тихую погоду выходящий из трубы дым. Как хочется вырваться из такого душного Петербурга и укрепить себя где-то в действительности, где люди живые бьются за своё существование день и ночь и радуются по-детски, если выйдет какое-нибудь облегчение”.

“Жизнетворцы” и пытались вырваться. Сектантская стихия неудержимо влекла “одержимых”. О “людях живых”, скрытниках Выговского края писал Пришвин в своих первых книгах “В краю непуганых птиц” и “За волшебным колобком”. Следующая его книга — “У стен града невидимого” — посвящена Керженцу, заволжским старообрядцам. Паломничества к Светлояру сменялись посещением сектантов из “Нового Израиля”, один из руководителей которой, Павел Михайлович Легкобытов, также поминается в пришвинском дневнике.

Петербургские христы, “охтинская богородица” — общение с ними создавало иллюзию “укрепления в действительности” — и на своих собратьев-интеллигентов писатель уже смотрел через призму восприятия их сектантами. “Были у меня опять хлысты. Подготавливал их к выступлению на религиозно-философском собрании. Если бы пробить их схоластическую мудрость, то внутри оказалось бы поразительное явление: в XX веке — начало христианства, “начало века”... Как они хорошо угадали Мережковского... Вслед за ним и я думаю: он иностранец, ему не понять русского народа, он только словесник...”

нет... он словесник, который искренно хочет отказаться от словесности, то есть от самого себя... Блок и Мейер, по мнению хлыстов, обладают “пророческим” даром. Просто, по-моему, они искренние люди. Но ведь Мережковский тоже искренний, почему же он всё же кажется неискренним...” Это запись в дневнике от 9 января 1909 года, а почти через полвека Пришвин вспоминал диалог Блока, который воспринимался им, как “человек, живущий “в духе”, и с которым ему было так же неловко, “как с людьми из народа: сектантами, высшими натурами”, — и Легкобытова: “Вспоминается день, когда вождь секты “Новый Израиль” Павел Михайлович Легкобытов сказал Блоку:

— Поймите, Александр Александрович, что мы здесь представляем из себя кипящий чан, в котором все мы со своими штанами и юбками сварились в единое существо. Бросьте вы в наш чан, и мы воскресим вас вождём народа.

Блок ответил, что так просто располагать собой он не в состоянии, он не может “бросить” себя”.

У наиболее чутких из “одержимых” не проходило ощущение, что их влечёт в поисках выхода из “полупризрачного” существования — в совершенно чуждый, “эстетизированный” “жизнетворцами” в воспалённых мечтаниях мир, который едва ли примет их со всем их “жизнестроительством” и “богоискательством”. А если примет, то так, что лучше бы и не принимал.

Об этом и вся повесть Андрея Белого “Серебряный голубь”, герой которой, alter ego автора Дарьяльский, бьётся в экстазе предвкушения встречи с “народной стихией”.

“Дикой красой звучали его стихи, тьму непонятым заклинающие заклятьем в напоре бурь, битв, восторгов. И, сковывая эти бури, битвы, восторги, — он насильно обламывал их ухарством — и далее: побеждал ложное, но неизбежно отламываемое ухарством и запахом мускуса: но — о, о: запах крови дымился над запахом мускуса.

И этот путь для него был России путём — России, в которой великое началось преображение мира или мира погибель...”

И Дарьяльский находит, мнится ему, душевное пристанище в этом мире — среди братьев-голубей, совершающих свои радения в ожидании дня, “когда родится царь-голубь — дитё светлое”, “и поющих, и преображающихся, и, сдаётся, преображающих мир вокруг себя...” Дарьяльский, которому в конце концов разобьют голову кроткие сектанты, а потом “в переливах радуги воздушной” со светлыми ликами понесут его хоронить, а впереди пойдёт женщина с распущенными волосами, неся всё то же изображение голубя — символ духа и святости — в руках.

“Помню, Блок, прочитав какую-то мою книгу о природе, сказал мне, — вспоминал Пришвин.

— Вы достигаете понимания природы, слияния с ней. Но как вы можете туда броситься?

— Зачем бросаться, — ответил я, — бросаться можно лишь вниз, а то, что я люблю в природе, то выше меня: я не бросаюсь, а поднимаюсь”.

Так же мог сказать и Клюев.

“Я не считаю себя православным, да и никем не считаю”, — вспомним ещё раз эту клюевскую фразу из письма Блоку. Говорит она о том, что Клюев отвечал на некие блоковские вопросы, касающиеся клюевского вероисповедания. И Клюев, по сути, отказался отвечать “брату Александру”, ибо видел в нём, при всей духовной близости — “бросающегося”. И было, видимо, предощущение, возникающее при чтении неизвестных нам писем Блока, что полного слияния их “в духе” не произойдёт никогда.

“Да и никем не считаю” и “ненавижу людоедство верующих”, т. е., по сути, неверующих, ибо не может настоящий православный человек есть ближнего своего... Скоро, скоро он разойдётся на этом рубеже и с Ионой Брихничёвым. А пока — пока его путь совпал с путём “голгофских христиан”. Два года подряд он печатает стихи в “Новой земле”, где ждут Христа, приходящего к нищим и угнетённым, каким его изображает епископ Михаил, Христа “на улицах и в злых домах современного города и деревни”: “...Явился бог новый, мужицкий... Уже не сторож для богатых, их жён, шуб, а мужицкую землю и мужицкие дела ведаёт... Он в самом деле пришёл сюда, — в тихую деревню, в тёмную жизнь — эту избу чёрную и холодную, смотрит чёрными мёртвыми глазами со старых полупившихся икон, — как в храме он не смотрит. Пришёл новый мужицкий бог и понял и увидел: тёмную, обыденную и горькую безот-

радную тоску и глухую извечную скорбь”. Видит Христос фабричных работниц с “трупным цветом лица”, крестьянских детей, умирающих от голода... “И сказал Христос: На земле, где я умер на кресте, только звери и хищники. Тогда пусть погибнет мир. Я, Бог, проклиная... Встаньте, воскресните, или в пепел обращу землю”...

Одно из стихотворений Клюева, из напечатанных в “Новой земле”, обращает на себя особое внимание. Это – “Полунощница”.

*Собирайтесь-ка, други, в Церковь Божию,
Пречудную, пресвятейшую!
Собираючись, други, поразмыслите,
На себя поглядите оком мысленным,
Не таится ли в ком слово бренное,
Не запачканы ль где ризы чистые,
Легковейны ль крыла светозарные?
Коль уста — труба, ризы — облако,
Крылья — вихори поднебесные,
То стекайтесь в Храм все без боязни!*

И дальше, после первого голоса, созывающего в Храм — лик голосов: “Растворитесь, врата пламенного храма, мы — глашатаи Христа, первенцы Адама... Нам дарована Звезда, ключ от адской бездны, мы порвали навсегда смерти плен железный...” Кроме реминисценции из Откровения Иоанна Богослова (“...я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны...”.) здесь ясно слышится нота благословения, не совместимая с жестокой нотой проклятия того же отца Михаила... А лик голосов, также завершающий “Полунощницу”, после “возгласа второго” отсылает к имяславцам, о которых ещё в 1907 году вышла книга о. Иллариона “На горах Кавказа” и о которых писал о. Валентин Свенцицкий, один из голгофских христиан, в книге “Граждане неба. Моё путешествие к пустынноикам Кавказских гор”, к пустынноикам, которые в уединении и безмолвии славили имя Иисусово, веря, что имя Божие — есть сам Бог... В 1913 году грянет послание Священного Синода, объявляющее имяславие ересью, утверждающее, что Имя Божие только имя, а не сам Бог, не энергия Божия, и чудеса творятся не именем Божиим, и святые таинства совершаются не именем Божиим, а лишь от лица церкви... Имяславцы будут изгнаны с Афона, и патриарх Тихон уже после революции возобновит запрещение Священного Синода, и подвергнутся они репрессиям в конце 1920-х годов... Здесь возможно говорить о состоявшемся прямом общении Клюева с о. Валентином, но естественнее вспомнить “Гагарью судьбину”, где Николай поминал своё путешествие по Кавказу (ничем документально не подтверждённое — да и есть ли смысл в этом подтверждении?) после бегства от скопцов. “...По рассказам старцев виделся с разными тайными людьми; одни из них живут в горах, по году и больше не бывают в миру, питаются от трудов рук своих. Ясны они и мало говорливы, больше кланяются, а весь разговор: “Помолчим, брат!” И молчать так сладко с ними, как будто ты век жил и жить будешь вечно...” Не об имяславцах ли речь, нашедших новую Фиваиду? И не тянется ли нота от лика голосов в “Полунощнице” к лику, явленному в позднем цикле “Земля и железо” 1916 года?

*Мир выткал пелену, видение темня,
Но некая свирель томит с тех пор меня;
Я видел звука лик (разрядка моя. — С. К.) и музыку постиг,
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг!*

...А “светское общество” в это же время “исповедовало” Христа по-своему. 16 января 1910 года в газете “Русское знамя” появилась жуткая заметка о “перформансе” в петербургском Дворянском Собрании. Текст этой заметки позже воспроизвёл Сергей Нилус в книге “Близь есть, при дверехь”. Разумеется, первое, что бросается в глаза пристрастному читателю, — это фразеология автора газеты. Но суть не во фразеологии, а в описании самого “действия”, от которого у Нилуса, по его же признанию, “кровь стыла в жилах”.

“Страшная важность того, что случилось в Петербургском Дворянском собрании, преувеличена быть не может. Там собирали жидов (жидовский концерт) всех классов и состояний торжествовало первую победу жидовства над христианством (“Не над христианством, — комментировал Никус, — а над равнодушным безверием: христианства — Христовой Церкви не одолеть и вратам адовым”), неистово хлопая чуть не шансонетке, припевом которой служил предсмертный возглас Христа Спасителя... В подлой шансонетке, распеваемой жидами в качестве гимна победы и одоления, повторяются все те злобные слова, которые с трепетом записывали Св. Евангелисты: “Сойди с креста, Распятый, если ты Сын Божий!” Эти слова возглашал современный жидовский кантор на эстраде Благородного Дворянского Собрания в Петербурге, и возглас этот переложен на современный мотив, усугубляя этим кровавое оскорбление... А русские православные люди слушали его и, не понимая смысла жидовского пения, прислушивали жидам-оскорбителям... Газета, печатаемая по-русски и читаемая русскими людьми (имеется в виду “Речь”. — С. К.), осмеливается совершенно откровенно пояснять, как жидовская публика “наслаждалась” куплетами, сюжетом которых служит *Распятие Христа...*” Далее автор выражал свой ужас и возмущение тем, что “все... молчат”.

(Хочешь — не хочешь, а заговоришь о нашей современности. Тогда исто-во верующие люди видели в этой богохульной распоясанности наступление последних времён. Последние времена не наступили, но грандиозный катаклизм не заставил себя ждать. Ныне мы наблюдаем нечто схожее. О выставке “Осторожно, религия!”, на которой за плату приглашали осквернять и уничтожать иконы, писали достаточно. Незамеченным прошёл ещё один эпизод из той же “оперы”. В течение довольно продолжительного времени музыкальный рефреном популярной телепередачи “Что? Где? Когда?”, в которой разыгрываются уже не книги, а большие деньги, была шансонетка с припевом “Crucify!”, что в переводе означает: “Распни Его!”)

* * *

“Жизнь на русских просёлках, под теляньканье малиновок, под комариный звон звёзд всё упорней и зловещее пугали каменные щупальцы. И неизбежное совершилось. Моздокские просторы, хвойные губы Поморья выплюнули меня в Москву. С гривенником в кармане, с краюшкой хлеба за пазухой мерил я лапотным шагом улицы этого доселе ещё прекрасного города”.

Так вспоминал Клюев о своём появлении в Москве и о встрече лицом к лицу с Ионой Брихничёвым.

“Не помню, как я очутился в маленькой бедной комнатке у чернокудрого, с пчелиными глазами человека. Иона Брихничёв — пламенный священник, народный проповедник, редактор издававшегося в Царицыне на Волге журнала “Слушай, земля!”, принял меня как брата, записал мои песни. Так появилась первая моя книга “Сосен перезвон”. Брихничёв же издал и “Братские песни”.

Брихничёв уже переписывался с Валерием Брюсовым и в письме от лета 1911 года сообщил ему, что Клюев “страшно нуждается. Как было бы хорошо, если бы можно было издать сборник его стихов — нельзя ли что-нибудь сделать в этом отношении?” Сделал всё необходимое сам — договорился с московским издательством В. И. Знаменского. Согласие на издание было получено.

“После Христа я никого так не любил, как Клюева”, — писал позже Брихничёв Брюсову. Их взаимная симпатия была очевидной, соработничество сблизало ещё больше, тюремное прошлое обоих тем паче настраивало на общий лад. Но определённое взаимонепонимание всё же дало себя знать. Клюев чувствовал себя на особицу и полностью соединиться в едином порыве с гогофскими христианами не торопился. Более того, личная встреча могла заронить в его душу серьёзное сомнение — не воспринимают ли его исключительно как поэтического проповедника “новой религии”? Брихничёв не мог не почувствовать эти сомнения, которые для себя квалифицировал как возможность отступничества. В одном из номеров “Новой Земли” того же 1911 года появилось его стихотворение, посвящённое Клюеву:

*Нет, спускать свой вымпел стыдно —
Нам, пловцам, выдавшим виды.*

*Нам, кому уж берег видно
Пламенеющей Колхиды.*

*Нам — прошедшим чрез горнила
Всех страстей и всех распятий
У родимого кормила —
В час восторгов и проклятий...*

*Не бежавшим, не просившим —
Ни пощады, ни покоя...
Чёлн в скитаниях разбившим,
Но не выбывшим из строя...*

Летом Клюев обретается в Даньковском уезде Рязанской губернии среди христов, судя по всему, шелапутского толка. Секта подверглась преследованию со стороны властей, и дело кончилось, видимо, кратковременным арестом Николая со товарищи, о чём он позже упомянет в одной из автобиографических заметок: “Сидел я и в Харьковской каторжной тюрьме, и в Даньковском остроге (Рязанской губернии)...” Документы, содержащие сведения об этих “сидениях”, пока не выявлены, и хронологический отрезок заключения не прослеживается. В письме Блоку, написанном уже в декабре месяце, Клюев просит оказать денежную помощь своему знакомому сектанту Григорию Васильевичу Ерёмину “ради мало хорошего, что мы с Вами нашли в самих себе и что связывает нас с людьми и с родиной” и прилагает письмо самого Ерёмина, откуда приводит жалобные строки: “У меня всё пожгли, всю солому — так что не осталось ничего, — ни скотину кормить, ни топить нечем”. Судя по всему, местное начальство, помимо всего прочего, устроило в общине форменный погром.

Добравшись до Москвы, Клюев сообщает Блоку, что богатый издатель предлагает ему выпустить книжку стихов. Клюев волнуется, даром что его уверяют (а уверяет, очевидно, Брихничёв), что книжка “нужна и найдёт много читателей”. Просит разрешения посвятить книгу самому Блоку — “Нечаянной Радости” и просит написать к ней предисловие... Предисловие это напишет Валерий Брюсов, с которым Клюев познакомится в начале августа и который там же в Москве представит его Николаю Гумилёву.

Проходит месяц, Клюев уже в Петербурге, пишет Блоку с просьбой о встрече, и наконец, 26 сентября, эта долгожданная встреча состоится. О ней, впрочем, не останется никаких свидетельств, а следующему свиданию, почти месяц спустя, Блок посвятит страницу своего дневника от 17 октября.

“Клюев — большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковскими, изнурённый приставаньем (Санжарь), пьяными наглými московскими мордами “народа” (в Шахматове — было, по обыкновению, под конец невыносимо — лучше забыть, забыть), спутанный — я жду мужика, мастеровщину, П. Карпова — темномордое. Входит — без лица, без голоса — не то старик, не то средних лет (а ему 23?). Сначала тяжело, нудно, я сбит с толку, говорю лишнее, часами трещит мой голос, устаю, он строго испытует или молчит... Только в следующий раз Клюев один, часы нудно, я измучен — и вдруг бесконечный отдых, его нежность, его “благословение”, рассказы о том, что меня поют в О(лонецкой) г(убернии), и как (понимаю я) из “Нечаянной Радости” те, благословляющие меня, сами не принимают ничего полусказанного, ничего грешного. Я-то не имел права (веры) сказать, что сказал (в “Нечаянной Радости”), а они позволили мне: говори. — И так ясно и просто в первый раз в жизни — что такое жизнь Л. Д. Семёнова и даже — А. М. Добролюбова... “Есть люди”, которые должны избрать этот “древний путь” — “иначе не могут”. Но это — не лучшее, деньги, житьё — ничего, лучше оставаться в мире, больше “влияния” (если станешь в мире “таким”). “И одежду вашу люблю, и голос ваш люблю”. — Тут многое не записано, запамтовано, я был всё-таки рассеян, но хоть кое-что. Уходя: “когда вспомните обо мне (не внешне), — значит, я о вас думаю”.

Конспект встречи, пунктирный набросок, а сказано много. Видно, что по началу Клюев пришёл к Блоку не один и, вполне возможно, столкнулся с Пименом Карповым, который уже списывался с Блоком, присылал ему свою книжку “Говор зорь. Страницы о народе и интеллигенции” — во многом наив-

ный и сумбурный сборник памфлетов, где обрушивался на русскую интеллигенцию, писал, что интеллигенты “ограбили народ духовно”, а это “ужаснее грабежа материального, который совершали над крестьянами помещики и капиталисты, что даже в своих протестах против социальной несправедливости интеллигенты озабочены лишь преследованием собственных целей и совершенно не думают о забитом и униженном крестьянстве, что народолюбие Блока, Мережковского, Вячеслава Иванова не вполне искренно, и предлагал им “пожертвовать благами духовной жизни” и “пойти за плугом”, ибо только таким путём “интеллигенты” переродятся и полюбят всё близкое: родную землю, родной язык, родной народ... Ключеву было о чём поговорить с Карповым – выходцем из старообрядческой семьи, тюремным сидельцем, участником крестьянского повстанческого движения, также постранствовавшим и проведшим немало времени в общении и с христианами и со скопцами... Но позднейшее общение при всей внешней схожести биографий не привели к взаимопониманию... А тогда никого, кроме Блока, Ключев перед собой не видел. И следующая встреча, когда они остались один на один, была насыщена потаённым смыслом для них обоих. Блок, судя по всему, с трудом разрывал пелену усталости и погружённости в себя. Ключев разрывал пелену ощутимого блоковского отчуждения, которое он не мог не чувствовать при всей сердечности их разговора, он же приводит жизненный путь Семёнова и Добролюбова, как пример, которому он не может последовать, ибо выбор сделан – остаться “в миру” и воздействовать на “мир” словом, идущим от сердца... Но сколько бы ни было переговорено – а не удовлетворил Ключева этот диалог, о чём он и напишет Блоку в конце ноября уже из Олонецкой губернии.

“Это моё приветствие к Вам уже не имеет характера “С добрым утром”, ибо воочию убедился, что Вы спите, хотя и не в зачарованном замке, как думается с первого взгляда... Тщетно я подбрасываю сучьев в свой одинокий лесной костёр, чтобы огонёк его стал виден Вам в пустыне Вашей Ночи, и чтоб почувствовали Вы, что он приводит на грудь брата. Все мои письма и слова к Вам есть раздувание этого костра, – я обжёл руки, на губах у меня пузыри и болячки, валежник и сучья разорвали мою одежду... Но сон обуял Вас. Мнитесь Вам, что мир во власти демонов...”

И далее Ключев в стиле русской народной сказки со смысловыми отсылками к циклу “На поле Куликовом” излагает, что же происходит “на самом деле”: Блок мнится ему Иваном Царевичем, спящим “в сером безбрежье русского поля”. “В шумучих ковылях теряется дикий шлях – путь искания возлюбленной (Прекрасной Дамы), и с какой-нибудь Непрядвы или речки Смородицы доносятся лебединые гомон и всплески. Далёким-далеко, за нитью багровой заряницы, скоком-походом мчится серый волк: несёт воду живую и мёртвую...” Вместо демонов – “курганное вороньё” клюёт падаль-человечину. А “за синим бором” идёт побоище с дьяволом. А Царевич спит и не слышит, как “мается маятой смертной в Кощеевом терему Царевна: чья возьмёт?” Хотелось бы верить, что пробудится витязь от “сосен перезвона” (книга только-только вышла), что “как колокол, красное яйцо сулит, – белую вербу, ключевую воду, частый гребень, ворона коня, посвист удалецкий, зазнобу – красну девицу...” Да не верится.

И – кончилась сказка. Замолкли гусли былинщика-песнопевца. Вступает в свои права суровый друг-учитель, выговаривая тому, кого недавно братом называл, всё наболевшее. Невозможно воспринимать его, Ключева, речь в состоянии той раздвоенности, душевной развоплощённости, в котором находится Блок. Ни искренности, ни душевности не чувствует Ключев – сам со своей душевностью, открытостью, которая почти никогда не проявится на людях, оказывается объектом рассмотрения со стороны в неких неведомых ему целях. “...Мне теперь видно Ваше действительно роковое положение, так как одной ногой Вы стоите в Париже, другой же – “на диком берегу Иртыша”. Отсюда то тяжёлое и нудное, что гнело нас при встрече и беседе друг с другом... Даже Ваш прощальный поцелуй был (если не из физического отвращения) половинчат и не унесён мною в мир. Ясно, что такие люди, как я, для Вас могут быть лишь материалом, натурой для Ваших литературных операций, но ни в коем случае не могут быть близкими, братьями... Моя беседа с Вами была сплошной борьбой с иноземщиной в Вас. Я звал Вас в Назарет, – Вы тянули в Париж, я говорил о косоворотке и картузе, – Вы бежали к портному примеривать смокинг, в то же время посылая воздушный поцелуй картузу и косово-

ротке. Такое положение долго продолжаться не может, а если и продолжится, то вскоре Мир увидит вместо Ивана Царевича “Идолище поганое” — нового бога с лицом быка и спиной дракона. В тот день безумства и позора дунет Дух и велико будет падение идола, и Вечная Зима (которую Вы уже слышите в “Земле в снегу”) дохнёт метелью и мраком на светлый рай Ваш...” Здесь и перифразы строк Владимира Соловьёва к месту — знает Клюев, как Блока тянет к тому, точно магнитом... Жестокое пророчество произнесено, но Клюев не может на нём останавливаться — слишком он любит и ценит Блока, даром что образ человека совершенно не совпал в его глазах с образом поэта, которого он принял целиком в своё сердце. Он едва не со слезами на глазах призывает Блока к Христу, его, клюевскому Христу. “Его храм, основанный две тысячи лет тому назад, забыт и презрен, дорога к нему заросла лозняком и чертополохом; тем не менее отважьтесь идти вперёд! — На лесной прогалине, в зелёных сумерках дикого бора приютился он. Под низким обветшалым потолком Вы найдёте алтарь ещё на месте и Его тысячелетнюю лампаду неугасимо горящей. Падите ниц перед нею, и как только первая слеза скатится из глаз Ваших, красный звон сосен возвестит Миру-народу о новом, так мучительножданном брате, об обручении раба Божия Александра, — рабе Божией России...”

Письмо Блока потрясло, о чём свидетельствуют записи в его дневнике: “Я над Клюевским письмом. Знаю всё, что надо делать: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу” (6 декабря). И через три дня: “Послание Клюева все эти дни — поёт в душе. Нет, — рано ещё уходить из этого прекрасного и страшного мира”. 17 декабря: “Писал Клюеву: “Моя жизнь во многом темна и запутана, но я не падаю духом”. Объясняет своё состояние и одновременно оправдывается в чём-то сущностно перед самим собой. Посылает переписанное письмо Николая Городецкому и его жене. В доме у Мережковских зачитывает текст письма и встречает обжигающую реакцию: “Я читал письмо Клюева, все его бранили на чём свет стоит, тут был приплетён и П. Карпов. Будто христианство — “ночное”, “реакционное”, “соблазнительное”... Итак — сегодня: полное разногласие в чувствах России, востока, Клюева, святости...” Он показывает письмо Марии Павловне Ивановой, которой будет посвящено стихотворение “На железной дороге”, и выписывает в дневник текст её письма к Александре Андреевне Кублицкой-Пиоттух — матери, самому дорогому для Блока человеку. Иванова ничего не пожелала понять: “Когда я начала читать, то мне очень понравилась красота образов и сравнений, но так от начала и до конца и была одна красота. Из-за этой красоты и до сути не доберёшься... По письму могу сказать, что поэт совсем закрыл человека. Видно, что он любит А-ра А., но уж очень много берёт на себя, предъявляя такие обвинения, угрозы, чуть ли не заклинания. Куда он зовёт? Отдать всё и идти за ним, и что же делать? Служить России? Но это ведь даже не Россия, а его дикий бор только, неужели истина только там?.. Перезвон красивых фраз, и А. А. принял это очень к сердцу только потому, что, вероятно, сам переживал разные сомнения, и вот в этой-то борьбе с самим собой гораздо больше Бога, чем в горделивой уверенности в своей правоте Клюева... Удивляюсь, что Клюев, только написав А. А. разные обвинения и не зная даже, как их примет А. А., через несколько строчек уже дарует ему прощение: нет, не нравится мне это... У Клюева очень много гордости и самоуверенности, я этого не люблю...” Характерно, что к словам “очень уж много берёт на себя” Блок делает примечание: “Моё”. То есть узрел гордыню там, где её не было. Так и потянулся за Клюевым шлейф гордеца и елейника одновременно. Так о нём и будут вспоминать многие — от Городецкого до Ходасевича.

А ведь ещё недавно Блок записывал в дневник, как одно воспоминание о Клюеве подвигло его на поступок, противный всему его существу. 1911 год ознаменовался двумя событиями, всколыхнувшими Россию: убийством Столыпина и ритуальным убийством мальчика Андрея Ющинского. Последнее так и осталось нераскрытым, подозреваемым по нему проходил Мендель Бейлис. До суда ещё было далеко, а “прогрессивная общественность” уже забила в набат. Владимир Короленко написал воззвание “К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)”, опубликованное 30 ноября в газете “Речь”. “Во имя справедливости, во имя разума и человеколюбия мы поднимаем голос против вспышки фанатизма и тёмной неправды. Исстари идёт ве-

ковечная борьба человечности, зовущая к свободе, равноправию и братству людей, с проповедью рабства, вражды и разделения...” И так далее, и тому подобное. Набора трескучих фраз оказалось достаточно, чтобы либеральное литературное сообщество, не дожидаясь окончания следствия, возмутилась “приступом мракобесия”. Добровольные помощники ходили собирать подписи, автографы под воззванием поставили Горький, Леонид Андреев, Мерезковский, Зинаида Гиппиус, Сологуб и другие.

“Дважды приходил студент, собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленкой), – записал Блок 27 ноября. – После этого скребёт на душе – тяжёлое. Да, Клюев бы подписал, и я подписал – вот последнее...” Здесь важно всё: и с нажимом написанное “дважды” – свидетельство настырности студента и насилия Блока над собой, и обращение к авторитету Клюева в данной ситуации. И неизбежен вопрос: почему Блок был уверен, что “Клюев бы подписал”?

Основания у него для такого заключения были. Очевидно, с Клюевым состоялся соответствующий разговор – не могла эта животрепещущая тема не возникнуть. И, видимо, Клюев обозначил своё отношение к данной истории.

Его мнение наверняка не расходилось с мнением Ф. Е. Мельникова, писавшего в старообрядческом церковно-общественном журнале “Церковь” уже во время процесса: “...Употребляют евреи христианскую кровь или нет? – вот к какому вопросу сводится всё дело Бейлиса... Старообрядцам не приходилось самостоятельно решать этот вопрос, не было для этого никаких поводов. Старообрядческая кровь, хотя самая чистейшая по своей принадлежности истинным христианам, почему-то не требуется евреям, им подавай кровь непременно никониан. Казалось, им ничего не стоило бы и достать кровь старообрядческих детей. Сколько старообрядческой крови пролили наши вековые гонители. Целое море. Евреи могли бы свободно черпать её целыми ведрами. Запаслись бы ею на всю жизнь, до самого конца мира... А кровь-то какая: не отравлена ни табаком, ни алкоголем, ни другим каким-либо ядом. Но вот, подите же, ею почему-то евреи совсем не пользовались. Замечательно, что они и никогда не пользовались настоящей христианской кровью для своих религиозных целей. Вот уже скоро минет 2000 лет, как существует христианство, а христианская Церковь не знает ни одного мученика, который был бы убит евреями с ритуальной целью... Чем бы ни кончился процесс Бейлиса, из него уже получился суровый приговор над авторами кровавого навета”.

Честно говоря, ошеломляет как издевательская тональность этой статьи, так и забвение автором староверческого журнала мучеников Евстратия Печерского, Иоанна Угличского, Гавриила Белостоцкого... Правда, последние двое были убиты в пору самых страшных староверческих гарей и прославлены, как мученики, уже никонианской церковью... И всё же – чем это объяснить?

Объяснение одно: сами староверы подвергались обвинениям в ритуальных убийствах. Это обвинение, в частности, содержится в знаменитом “Розыске о раскольнической брынской вере, о учении их, о делах их, и изъявление, яко вера их не права, учение их душе вредно и дела их не богоугодна” св. Дмитрия Ростовского наряду с такими же “правдоподобными” утверждениями, как причащение у староверов изюмом и салом или того, что литургию у них творят девки.

Павел Иванович Мельников, известный под литературным псевдонимом “Андрей Печерский”, чья деятельность как государственного чиновника была направлена на искоренение раскола – “язвы государевой”, – сам был лютым гонителем староверов – “зорителем” волжских скитов и часовен. Уже в эпоху александровских реформ он заявил в “Записке о русском расколе”, что не считает раскол более опасным для государства и находит вредным всякое его преследование. Романы Мельникова-Печерского “В лесах” и “На горах” стали классическими произведениями, воспроизводящими быт тех самых волжских скитов, в уничтожении которых он принимал активнейшее участие. Так вот, Мельников в одном из “Писем о расколе” специально остановился на роли пресловутого “Розыска” св. Дмитрия Ростовского: “Вообще до сих пор история составления “Розыска” не подвергнута ещё надлежащей критике, не объяснено, что в этом сочинении принадлежит самому св. Дмитрию и что другим лицам... Припомним, однако, что все сведения о раскольниках, о их сектах и действиях св. Дмитрий прямо называет не *своими*, а полученными

от других... В “Розыске” есть места, описывающие раскольников в неправильном, искажённом виде, и это раскольниками ставится в упрёк св. Димитрию. Они говорят, будто он вымышлял много. Но он не вымышлял, а записывал всё, что слышал, и потому неточность рассказа падает не на св. Димитрия, а на сообщавших ему неверные слухи...” Так одна несправедливость влечёт за собой другую, один злобный навет, полученный из чужих рук, становится причиной нового злобного всплеска – и конца этому не предвидится до тех пор, пока не будут установлены непреложные факты происхождения ненавистнических нелепиц, громоздящихся одна на другую, и их причинно-следственная связь.

* * *

Блок получил “Сосен перезвон” с дарственной надписью: “Александр Александрович Блоку в знак любви и чаяния радости-братства. Николай Клюев. Андома. Ноябрь. 1911 г.” Он читал и отмечал отдельные строки, обретающие для него особый смысл, как то: “Но иногда мы чуем оба ошибки чувства и ума” из стихотворения “Я говорил тебе о Боге...” – видимо, вспоминая встречу с Николаем и его последнее письмо. Выделил отчёркиванием “Будь убог и тёмн телом, светел духом и лицом” из стихотворения “Я был в Духе в день воскресный...” и последние три строфы “Голоса из народа”. Целиком, судя по пометкам, принял “Под вечер” и “Грешницу”. А стихотворение “Пахарь” выделил треугольником перед заголовком и поставил знак вопроса напротив строк: “Вы обошли моря и сушу, к созвездьям взвили корабли...” Что говорить – дерзкий и неожиданный прорыв в будущее, оставшийся на тот день, естественно, непонятным... А под последними строчками – “Могу ль я вас, как терн негодный, не вырвать с корнем навсегда?” – написал: “Очень озлоблен”. Как будто сам забыл окончание своей статьи “Народ и интеллигенция” – тройку, “несущуюся прямо на нас...”

Брюсов в предисловии выделил главное, учуянное в стихах: “Поэзию Клюева нужно принимать в её целом, такой, какова она есть, какой создалась в душе поэта столь же произвольно, как слагаются формы облаков под бурным ветром поднебесья... Поэзия Клюева жива внутренним огнём, горевшим в душе поэта, когда он слагал свои песни. И этот огонь, прорываясь в отдельных строках, вспыхивает вдруг перед читателем светом неожиданным и ослепительным... Этот огонь, одушевляющий поэзию Клюева, есть огонь религиозного сознания. По его собственному признанию, он поёт, “верен ангела глаголу”. И что в стихах другого могло бы быть лишь красивой метафорой, то у Н. Клюева нам кажется простым и точным выражением его внутреннего чувства, его исповедным признанием”. Так Клюев – “ученик символистов” – сразу был отведён первым среди них и от “учителей”, и от их эпигонов.

Ещё более возвышенный тон взял Николай Гумилёв (получивший от Клюева “Сосен перезвон” с надписью: “Мы выйдем для общей молитвы на хрустящий песок золотых островов”): “Эта зима принесла любителям поэзии неожиданный и драгоценный подарок. Я говорю о книге почти не печатавшегося до сих пор Н. Клюева. В ней мы встречаемся с уже совершенно окрепшим поэтом, продолжателем традиций пушкинского периода. Его стих полновзвучен, ясен и насыщен содержанием... Пафос поэзии Клюева редкий, исключительный – это пафос нашедшего... Славянское ощущение светлого равенства всех людей и византийское сознание золотой иерархичности при мысли о Боге. Тут, при виде нарушения этой чисто русской гармонии, поэт впервые испытывает горе и гнев... Теперь он знает, что культурное общество – только “отгул глухой, гремучей, обессилевшей волны”. Но крепок русский дух, он всегда найдёт дорогу к свету...” Гумилёв цитирует строки “Голоса из народа” – “Мы – как рек подземных струи, к вам незримо притечём и в безбрежном поцелуе души братские сольём”... И делает пророческий вывод: “В творчестве Клюева намечается возможность большого эпоса”.

Небезынтересно, что тут же, по соседству, в 1-м номере “Аполлона” за 1912 год, Гумилёв оценивает книгу Константина Бальмонта “Зелёный вертоград” и, высоко отзываясь об отдельных стихотворениях и строфах, в целом выносит убийственный приговор: “Зелёный Вертоград (Слова поцелуйные) навеян Бальмонту песнями и сказаниями хлыстов. Многие стихотворения –

прямо подделки. Подлинный их религиозный аромат, конечно, выветрился у Бальмонта, никогда не умевшего отличать небесность от воздушности”. Волей-неволей бросается в глаза контраст между “подделкой” Бальмонта и “пафосом нашедшего” Клюева.

Из других отзывов на “Сосен перезвон” выделяется рецензия уже знакомого нам А. Копятевича, опубликованная в “Вестнике Олонецкого губернского земства”. Земляк оценил книгу и восторженно, и пронизательно: “Сосен перезвон” не из тех сборников стихов, которые только лишь появились и уже обречены бесследно потонуть в море холодного равнодушия и общего невнимания. Было бы жестокой несправедливостью, если бы поэзия Клюева встречена была именно так равнодушно. К счастью, этого не может случиться... Стихи Клюева – истинная ценность, они должны увлечь каждого, кто любит и понимает поэзию, кто в полнозвучии стиха, в музыке ритма способен находить утешение тончайших запросов своей души... Его творческий дух мыслит яркими, живыми образами, он обладает даром улавливать и передавать сокровенные душевные движения, постоянно меняющиеся в своём беге настроения... Он сохранил всю прелесть, всё богатство народного языка, народной речи и полными пригоршнями рассыпает эти богатства перед нами. Властелин слова, он легко находит нужный ему материал для выражения своих мыслей и своих чувств. Из народной речи он заимствует нужные ему образы, гранит их, как искусный ювелир, и дарит нас совершенным в образе поэтического творчества... Нельзя не быть признательным автору за то наслаждение, которое могут дать его стихи. Нельзя не пожелать дальнейшего расцвета творчеству ещё одного даровитого представителя крестьянской Руси”.

Сам же Клюев был чрезвычайно недоволен вышедшим сборником. “Дорогой Валерий Яковлевич, – писал он Брюсову, – присылаю Вам свою книжицу, изуродованную до неузнаваемости, с перепутанными стихами, с множеством опечаток, с не моими заглавиями и с недостающими, потерянными издательством стихами”. В тот же день он пишет аналогичное письмо Блоку с выражением радости от получения блоковских “Ночных часов”. И уже – никаких “упрёков” и “прощений”.

И ещё одно письмо было написано Клюевым в конце того же 1911 года. Осенью, когда состоялась его встреча с Блоком, Николай посетил редакцию “Аполлона”, где получил предложение написать статью о Блоке (написана она не будет). Там он снова встретился с Гумилёвым и познакомился с Анной Ахматовой.

Знакомство вышло не слишком удачным. И теперь Клюев в письме к ней пытался объяснить – почему всё случилось так, как случилось.

“Извините за беспокойство, но меня потянуло показать Вам эти стихотворения, так как они родились только под впечатлением встречи с Вами. Чувства, прихлынувшие помимо воли моей, для меня новость, открытие. До встречи с Вами я так боялся такого чувства, теперь же боязнь исчезла, и, вероятно, напишется больше в таком духе. Спрашиваю Вас – близок ли Вам дух этих стихов? Это для меня очень важно. Или неужели я ошибся: ввёл себя и Вас в ложное.

Ещё хочется сказать Вам, чтобы Вы не смущались моей грубостью и наружной холодностью, которая так запомнилась Вам от нашего свидания в “Аполлоне”. Я знаю, что Вам было нудно и неприятно, но поверьте, что я только и знал, что оборонялся от Вас – так как в моём положении вредно и опасно соблазняться духом людей Вашего круга. Только потому и приходится запереть свои двери...

Простите за слова. Жизнь Вам и Радость.

Жду ответа, только, пожалуйста, заказным письмом.

Николай Клюев”.

Прежде всего: чрезвычайно интересно признание Клюева в чувствах, которые нахлынули “помимо воли” и которые явились для него “открытием”. Оно многое меняет в сложившемся привычном облике Клюева, а что именно – об этом мы поговорим отдельно.

Ещё один момент: до Клюева дошло, что Ахматова запомнила его “грубость и холодность”. Каким образом? Возможно, она поделилась своим неудовольствием с Сергеем Городецким, уже сделавшим на Клюева ставку и вознамерившимся всерьёз опекать Николая. И тот написал Клюеву об этом разговоре.

А если?.. Если он получил письмо от самой Ахматовой? Конечно, грубость и холодность не располагают к обмену адресами — но всё же? “Жду ответа”, — вполне можно написать и тогда, когда переписка уже завязалась...

Понятно — всё это не более чем предположения. Текст ни одного из гипотетических писем не известен — в любом случае Николай считает необходимым продолжить знакомство, которое для него — уже немного более, чем просто знакомство.

И ведь среди четырёх стихотворений, приложенных к письму, — одно особенно обращает на себя внимание.

*Мне сказали, что ты умерла
Заодно с золотым листопадом
И теперь, лучезарно светла,
Правишь горним неведомым градом.*

*Я негдешим забыться готов,
Ты всегда баснословной казалась
И багрянцем осенних листов
Не однажды со мной любовалась.*

*Говорят, что не стало тебя,
Но любви иссякаемы ль струи:
Разве зори — не ласка твоя,
И лучи — не твои поцелуи?*

“Вероятно, в 1912 г. Н. Клюев появился на нашем горизонте, — вспоминала Ахматова года спустя. — Уехав, он прислал мне четыре стихотворения. Три из них я забыла совершенно, четвёртое помню наизусть...” Как раз это стихотворение она и запомнила. “Это, конечно, не мне и не тогда написано. Но я уверена, что у него была мысль сделать из меня небесную градоправительницу, как он сделал Блока наречённым Руси”.

Все четыре стихотворения были посвящены “Гумилёвой”, и Ахматова не могла этого не помнить. Другое дело, что это посвящение надо было по возможности отвести от себя — и вопреки утверждению Клюева в полученном и прочитанном ею письме (“они родились только под впечатлением встречи с Вами”) она чётко и безапелляционно обозначила: не мне и не тогда. Впрочем, исправление своей биографии в конце жизни стало для неё привычным делом.

...Клюев ещё не раз появится на её горизонте. О встречах в “Цехе поэтов”, о пересечениях в середине 1920-х годов разговор впереди. А пока лишь отметим, что он был и остался для неё — “таинственный деревенский Клюев”, “ловец человеков”. Последняя характеристика особенно замечательна, если сопоставить её со словами самого Клюева, которые услышал в 1925 или 1926 году Николай Архипов: “Когда я начинаю говорить с Ахматовой, она начинает волноваться, кричать высоким фальцетом, чувствуя, что я попадаю в самую точку, понимаю как никто всю её женственность”.

Это “понимание женственности” через краткое общение и чтение ахматовских стихов как раз и воплотилось в клюевских поэтических посланиях. “На прогалине теплятся свечи, озаряя узорчатый гроб, бездыханные девичьи плечи и молитвенный, с венчиком, лоб. Осень — с бледным челом инокиня — над покойницей правит обряд...” — словно перекликается с ахматовским “Хорони, хорони меня, ветер...”, ещё не появившимся в печати. “Под луны волшебным взглядом ты — как белое крыло...” — сама нежность, крепнущая в предчувствии бури. И, наконец, правящая “горним неведомым градом” после смерти (о которой дошёл лишь слух — “Мне сказали...”) растворяется в природной стихии, с лаской принимающей её, и сама ласкающая живыми солнечными лучами... Двадцать лет спустя Ахматова прочтёт клюевскую инвективу “Клевникам искусства”, где о ней будут волшебные строчки: “Ахматова — жасминный куст, обожженный асфальтом серым, тропу утратила ль к пещерам, где Данте шёл и воздух густ, и нимфа лён прядёт хрустальный? Средь русских женщин Анной дальней она как облако сквозит вечерней проседью раки!” Снова — растворена в природе, и это уже, как поняла Ахматова — не градо-

правительница, но — китежанка. “Как облако сквозит” — для неё это облако, отразившееся в водах Светлояра, а Клюев уже устойчиво ассоциировался с Градом-Китежем и его насельниками. (“Меня называл китежанкой”, — вспоминала впоследствии.) Она приняла сигнал — и ответила по-своему, когда ещё только подступала к “Поэме без героя”, где эпиграфом ко второй части — “Решка” — будут клюевские строки о “жасминном кусте”. Чуть ранее родится поэма “Путём вся земля” (первоначальное название которой — “Китежанка”) с эпиграфами из “Поучения Владимира Мономаха детям” и “Откровения Иоанна Богослова”, где героиня из 1940 года, из эпохи уже начавшейся Второй мировой войны совершает обратное путешествие во времени — через 30-е и 20-е годы — к русско-японской и англо-бурской войнам, в свою раннюю юность, после чего следует безболезненный переход “за пределы времени”, туда, “где времени больше не будет” — в таинственный и долгожданный Китеж... И след от саней китежанки мнится не только следом Мономаха, что отпоявлялся “путём вся земля”, но и глубоко выписанным развороченным следом древней суриковской “Боярыни Морозовой”, чей путь — в Боровск, на голдную смерть.

*Великую зиму
Я долго ждала,
Как белую схиму
Её приняла.
И в лёгкие сани
Спокойно сажусь...
Я к вам, китежане,
До ночи вернусь.
За древней стоянкой
Один переход...
Теперь с китежанкой
Никто не пойдёт...*

Как никто не пошёл и за героиней, “уложившей сыночка кудрявого” и вышедшей за ворота терема к озеру, со дна которого доносится звон китежских колоколов (стихотворение написано в том же 1940 году), и слышится сквозь этот звон человеческий глас:

*— Ах, одна ты ушла от приступа,
Стона нашего ты не слышала,
Нашей горькой гибели не видела.
Но светла свеча негасимая
За тебя у престола Божьего.
Что же ты на земле замешкалась?
И венец надеть не торопишься?
Распустился твой крин во полнощи,
И фата до пят тебе соткана.
Что ж печалишь ты брата-воина
И сестру — голубицу-схимницу,
Своего печалишь ребёночка...*

Последние слова — роковые для новой Февронии, у которой “поглотила любимых пучина и разграблен родительский дом”.

*Как последнее слово услышала,
Света я пред собою невзвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.*

Это — чистая, беспримесная мелодия последней части ходившей тогда в списках по рукам клюевской “Погорельщины”: “Сорок дней и ночей сарациняне столп рубили, пылили на выгоне, краски, киноварь с Богородицы прахом веяли у околицы”...

...Словно ещё один безмолвный диалог, странным образом отозвавшийся на земле, произошёл между ними, когда их обоих не было уже в живых,

а живым был подан знак оттуда. Эту историю поведал один из наиболее вдумчивых и поэтически образованных исследователей творчества Анны Ахматовой Михаил Кралин: "Мне вспоминается ночь с 23 на 24 июня 1989 года. Поздно вечером я с моими друзьями приехал на электричке в Комарово и пешком пришёл к могиле Ахматовой... Мы разожгли костерок невдали от кладбища, соблюдая обычай древней Ивановой ночи. Через огонь мы не прыгали, но он исправно обогревал нас всю эту летучую белую ночь. На рассвете мы пошли к Щучьему озеру, чтобы искупаться на зорьке. Веяло прохладцей, туман плыл низко над озёрными водами. По береговой тропе к нам вышел старик в поношенных кедах, с рюкзаком за плечами, с охотничьим ножом за поясом. "Откуда вы, дедушка?" – спросили мы его. "Издалека, – ответил он, – из Сибири. Да нас тут много – поглядите, вон костерки жгут, греются". Мы поглядели – по берегам озера тут и там дымились невысокие костры. "А зачем вы приехали сюда?" – спросил я. "Как это зачем, – удивился старик, – надо нашу Аннушку помянуть. Ведь она всю жизнь за правду стояла, как же не приехать, не помянуть..." Я понял, что это съехались, сошлись со всех концов Руси для поминания Анны Ахматовой в её столетнюю годовщину ревнителю старой веры. И вспомнились её стихи, написанные в 1937 году:

*Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.*

*С душистою веткой берёзовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладкий медок попивать,*

*А после на дровнях в сумерки
В навозном снегу тонуть...
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?*

Тогда я понял, что времена Анны Ахматовой имеют и ещё одно измерение – они тайно живут в неистребимой душе народа, с которым она породнилась навеки великим русским словом".

Мне же думается, что в этот земной миг где-то там, на воздушных путях невдалеке друг от друга оказались души рабы Божией Анны и раба Божьего Николая.